

## Нас всех подстерегает Случай...

Итак, мы наконец-то вернулись в Москву. И не в съемную клетушку, как осенью 39-го на Покровку, а домой в Городок. В то самое место, что все эти годы представлялось прекрасным. Почти столь же прекрасным, как навсегда утраченный Севастополь. Таким бы, казалось, его и запомнить. А у меня — что за странность? В графе «возвращение» — прочерк, и в ворохе картинок — ни одной выразительной и сохранный. Обрывки... клочки... И все с небрежной, скупой как бы пометой: последнее военное лето. В расстройстве перебираю, словно пинцетом, придвинув мысленно подаренную недавно внуком модную чудо-лампу, забракованные, сложенные кучкой почти нечитаемые обрывки. Сначала безрезультатно, но с третьей или четвертой попытки начинаю, кажется, догадываться, почему так случилось. Видимо, сразу же по приезде из Лопасни мама отправляет меня и Лелю в Голицыно к Фабристовым. Я же теперь не только лишний рот, но и полезные в быту, почти работающие руки-ноги, да еще и не вовсе растяпистые. Сделав усилие, заполняю зияющие пустоты меж ветхими, рассыпающимися остатками голицынских картинок. Семен Ефимыч Фабристов, тетя Лиза и Валя, даже Женька скорее угадываются. Чуть яснее — окрестности, особенно паровозы и шпалы (наверное, я через них перепрыгивала), убогий пяточок рынка, слегка подымающаяся в гору широковатая улица, застроен-

ная старорежимными в дачно-загородном стиле строениями... Чутьочку четче фасад и отдельные фрагменты интерьера. Голицыно... Голицыно... То самое Голицыно, куда хозяйка нашей первой подмосковной дачи в Перхушково уезжала навещать младшего из двух своих сыновей? Нет, не то! Ничего похожего на большую больницу для больных туберкулезом детей я не высмотрела. Больница если и была, то, думаю, на другой, правой, если ехать от Москвы, стороне. Зато на этой... Какая же я, однако, везучая! Похоже, что ясновельможная Клио в хитроумные свои игры меня и впрямь



Самая популярная в этой части Голицына торговая точка. Улица хотя и именуется Коммунистическим проспектом, выглядит такой же захолустной, как и в 44-м.

Да и окрестности мало похожи на излюбленные москвичами дачные места — Малаховку или Клязьму



Дом творчества писателей «Голицыно»

До 1932 года здесь была как бы творческая мастерская. А еще ранее — дача Федора Адамовича Корша, создателя, владельца и художественного руководителя первого в России частного театра. Ныне — Театр Наций



тоже. Одно из этих строений — писательский Дом творчества, бывшая дача Федора Корша. На моих картинках, датированных летом 1944-го, его, разумеется, нет. Да и двадцать лет спустя оно если и обозначится, то не сразу, не вывалится из ряда радостно, словно при нечаянной встрече со старой знакомой.

**1965. Весна.  
ДТ «Голицыно»**

Да вот же! Смотри! Дом творчества СПИ Муравьев толкает плечом воротца и, опустив светло-серый футляр с новенькой немецкой «Эрикой» на почти сухой асфальт, растирает затекшие пальцы. Рукопись (почти готовый «Поэтический мир Есенина». СП, 1972), копия, выпрошенная в Литфонде пачка приличной, не газетной писчей бумаги и вообще все канцелярское — его заплечная ноша. Никак не расстается с солдатским фронтовым вещмешком. Бывшей дачи некогда модного театрального деятеля давным-давно нет «в натуре». То ли сгорела, то ли снесена по ветхости. Наталья Громова, повествуя о голицынских месяцах Цветаевой, избегает конкретностей. Фотографий — и тех по сусекам не наскреблось. Общий вид дома (не датированный) да фрагмент группового снимка 1940 года. Цветаева с сыном на первом плане. Нашлась совершенно неожиданно и еще одна фотография: Куприн на крыльце ДТ «Голицыно». Но это еще лето 1937 года. Моя комната, как и предполагалось, на верхотуре. Лесенка к умывальнику и ватерклозету узкая, шаткая и, разумеется, не электрифицирована. Муравьев, обеспокоившись условиями моего проживания, тут же находит выход. Не может быть, чтобы при рынке не было хотя бы плохонького магазинчика электротова-

подрядила-зачислила! Голицыно лета 1944-го — это же то самое Голицыно, в котором всего несколько лет назад, выселенная из Болшева, снимала угол Марина Цветаева со своим Муром! Да, да, то самое место, средь тех же заросших репьем и крапивой проулочков! Ну кто, кроме меня, еще помнит этот закоулок таким, каким вынужденно запоминаю его я? Я же таскаюсь сюда каждый погожий день. Женьке уже шесть, и шкодит братишка напропалую. А что делать? В околостанционном палисаднике безнадзорно находится запрещено, железная дорога под боком, в шаговой, как говорится, доступности. Зато здесь... Всегда только здесь. Вдоль по улице, которую почему-то именуют проспектом. Скучно и зло разбирает, но я же дала маме честное слово! К тому же по левую сторону проспекта высоких и цельных заборов нет, а прятки — единственное, что Женьке не надоедает. Наконец, осатанев, грубо, за шкуру вытягиваю «паршивца» на проезжую часть. Переходим на правую сторону. Заборы исправные, не высокие, но исправные. Дачные двухэтажки



Чехов читает одну из своих пользующихся коммерческим успехом пьес — «Иванова» или «Медведя»



Группа обитателей «Голицына» в осенне-зимний сезон 1939–1940 года. На первом плане Марина Цветаева с сыном. В ДТ они только столовались, впрочем, так делали многие, ведь рабочих комнат было всего девять

ров! Электротовары оказываются неплохонькими, а выбранный нами фонарик удачным. Механическим. Хуже со связью. На Преображенке, в первой нашей квартире, телефона весной 1965-го еще нет. Домашние новости не проблема. Муравьев обещает регулярно осведомлять тещу, а до родителей в любое время дозвониться проще простого. Но меня-то беспокоит другое. Книга Н. А. Волянской «На уроках режиссера Сергея Аполлинариевича Герасимова»<sup>1</sup> в его оформлении одобрена и, кажется, уже отправлена в типографию. Однако в «Искусстве», где она выходит, Муравьев человек со стороны, а здесь избыток своих художников книги — и заслуженных, и проверенных, и именитых. Так что на постоянные заказы рассчитывать не приходится. По счастью, перед самым моим отъездом с уже одобренной в «Советском писателе» рукописью объявляется Юрий Куранов. Рассматривая, как он, иронизируя, выражается, книжную графику В. П. Муравьева, по ходу дела еще и зачитывает ландшафтные «сюры» из новых своих рассказов. Наконец объявляет: оформление к «Колыбельным рукам» следует заказать не москвичу, который «не в материале», а костромичу «Володьке». Ему-де Колыбельные костромские места хорошо известны.

<sup>1</sup> Пробовала прикупить еще один экземпляр «Уроков». У меня единственный. Второй, запасной, пришлось оставить в Костромской центральной библиотеке, когда там была выставка муравьевских книжных работ. В основном большие грузинские листы к Нодару Думбадзе («Закон вечности»). Рисунки к Герасимову Муравьев подарил Лебедевым, там они и сейчас висят. А книги, лишнего экземпляра, нет и у них. Пробежалась по московским интернет-букам. Безрезультатно. Ничего не поделаешь — винтаж.



Александр Иванович Куприн на «черном» солнечном крыльце ДТ «Голицыно». По возвращении на родину знаменитый возвращенец прожил «у Корша» до декабря 1937 года

Для Муравьева, как и для его друга и сокурсника по Костромскому художественному училищу Алексея Козлова, они и вправду отчие. Самого же Куранова заносит сюда случай, знакомство с широко известным в ту пору автором «Юности» Евгением Шатько. Путешествие вроде случайное, попутное, но судьбоносное. Добравшись до Пыщуга, а затем и хутора, где жил тогда и работал Козлов, Юрий Николаевич влюбится в юную прехорошенькую, трогательную, как первоцветы, родственницу художника, которая, когда подрастет, станет его женой. Позднее он даже напишет о Козлове лучшую, на мой взгляд, из своих книг



Бессрочная хозяйка «Голицына» Серафима Ивановна Фонская. Недоброжелатели распускали сплетни, но знающие ее ближе утверждали: таков был, видимо, договор при передаче частного владения московскому Литфонду



Георгий Степанович Кнабе. Ученый-античник, специалист по Древнему Риму



Рисунки В. Муравьева к книге Н. А. Волянской «На уроках режиссера Сергея Аполлинариевича Герасимова»

«Озарение радугой» — «об искусстве живописи по мотивам жизни Алексея Козлова»<sup>1</sup>.

И вот что он там, в книжке, журнала под рукой нет, напишет о Муравьеве: «Человек огромной воли, пронзительного ума и кристального глаза рисовальщика». Что-то подобное (про глаз рисовальщика), видимо, говорил он и в художественной редакции «Советского писателя». Однако Куранов литератор недостаточно солидный, да и особой надежды на совписовских худ. редакторов нет ни у меня, ни у Муравьева. И тем не менее договариваемся, уже на перроне, в ожидании электрички, что ровно через неделю дозвонюсь самым оседлым из московских наших друзей Аскольду и Виктории Канторовым. Электричка сильно опаздывает, а я все талдычу: через неделю, запомни, к семи приедешь, и после семи, и весь вечер, жди моего звонка.

Дозвониться в строго определенное время из Голицына проблема, номер спаренный и часто подолгу занят. Ни одного из тогдашних телефонных номеров не помню. А этот, Канторовых, на всю оставшуюся жизнь: 13-57-662...

«Голицыно» не первый Дом творчества на моем тогдашнем литературном веку. Семинар

молодых критиков в Переделкино в самом конце 50-х. Месяц в осенней Малеевке в 1961-м. Октябрь в 1963-м в Коктебеле. Вот только тамошний стиль пребывания и общения мало чем отличается от тех мимолетных скрещений, что сами собой возникают в домах отдыха санаторного типа. Иное дело Голицыно. Здесь, как и при Корше, табльдот на девять или десять персон — по числу комнат, пригодных для «творческого вдохновения». Иного помещения для общения и отдохновения от «трудов праведных» в здешнем ДТ не имеется, если не считать крохотной выгородки под лестницей с разрозненными остатками некогда богатой библиотеки. Здесь, кажется, не возбраняется в холод и непогоду табакокурение. Но самое необычное — процесс столования. Вроде как по-домашнему, однако не так, как в городе, а по-дачному. Раскаленное, прямо с плиты, *первое* выносится в огромной, музейных кондиций супнице, неизменные котлеты на таком же (из стародавнего столового сервиза) бесценно-музейном блюде. И разливается, и раскладывается все это по тарелкам не «прислужой за все», а Начальницей (как бы Хозяйкой) Дома. Правда, при выносе самовара и расписных подносов с печевом (в полдник!) она уже не присутствует и вновь появляется только тогда, когда трудоголики, не желающие терять рабочее время на окололитературный треп, захватив по паре горячих булочек, расходятся, а остальные в ожидании *чаепития* собеседничают. Впрочем, собеседуют, соперничая в остроумии, в основном двое. Солидный, еле обозначившейся предполноты и особой барственной осанки молодежавый

<sup>1</sup> Первопубликация — журнал «Октябрь», отдельное издание: Ленинград, Детская литература, 1984.

мужчина лет этак сорока с лишним и элегантно-нарядная, красивая, хотя и не очень молодая дама. Фамилия красивой дамы мне известна — Эстер Маркиш, вдова знаменитого поэта Переца Маркиша. Старший из ее сыновей, Симон, учился у нас, на филфаке, на отделении древних языков. Одна из моих университетских однокурсниц была к нему некогда неравнодушна. В начальные, по приезде, два-три голицынских дня я, как и прочие, либо не задерживаюсь, либо, задержавшись, стараюсь не смотреть в сторону Прекрасной Дамы. Взгляд у Эстер Маркиш снайперский, а ну как догадается, что я, неведомо почему, знаю о трагической истории ее семьи чуточку больше, чем положено посторонним? К тому же прямо перед моими глазами четкая, как только что вынутое из закрепителя фото, картинка.

### Зима 1954 года

В Коммунистической аудитории общефакультетское мероприятие. Если не ошибаюсь, по случаю дня рождения тов. Сталина. Нам же, историкам и филологам, по велению самого Константина Симонова то ли завещано, то ли приказано возводить Отошедшему Нерукотворный Памятник. Опоздав по обыкновению и по обыкновению помаячив в полуприкрытых дверях, осторожненько сматываюсь. Балюстрада непривычно безлюдна. Обеспокоиться, однако, не успеваю. На меня, как и сговаривались накануне, откуда ни возьмись налетает Боженка Грабовская: «Алúшка, почему русские так любят своих *царэй?*» Божена сияет. Наконец-то получила какую-то особую еще и польскую стипендию и теперь, подсчитав «пенензы», выяснила: может, может себе позволить тот замечательный пеньюар. Чудесный, ручная вышивка и с таким вкусом. А как дешево! Все-таки умеют, ежели пуп надорвут. Она заприметила это чудо еще первым каникулярным летом, в Варшаве, на советской выставке, и ее прилюдно заверили, что точно такие же чудеса продаются и в ЦУМе. Я и вчера пробовала намекнуть, что это не так. Пробую и сейчас. Слушает и не слышит. *Ты же обещала...* Ну что же, ЦУМ так ЦУМ. Зеленоглазая моя «коллежанка» перепрыгивает через ступеньки и стрекочет, не умолкая, а я все-таки оглядываюсь. И только сейчас, с лестницы, замечаю. Уронив голову и спрятав лицо в скрещенные ладони, у барьера, слева от спуска в вестибюль, смутно знакомая не столько фигура, сколько мастерски постриженная мужская голова. Со стрижкой у меня проблемы. Никак не найду умельца, кто смог бы меня постричь под звезду неореализма Лючию Бозе и



МГУ. Легендарная лестница и левая часть балюстрады. Вход в Коммунистическую аудиторию справа. Фотография 1940 года

не где-нибудь, а в самом любимом из итальянских фильмов той поры «Рим, 11 часов». Стараются, стараются — а что получается? А получается одно и то же: «Я у мамы дурочка». Оглядываюсь еще раз. Ой, да это же, кажется, Сима Маркиш. Но у них... у него ... теперь... вроде как все в порядке? (В 54-м, видимо, еще теплилась надежда, что поэт жив.)

Картинка меркнет, тускнеет. Закрепитель ненадежный, без обозначения срока годности... Качели, раскачавшись, долетают до весны 1965-го и затормаживают там, где в весенние те недели я в реальности нахожусь. В ДТ «Голицыно».

Беру левой рукой горячую булочку, а правой поддвигаю поближе к самовару ближайший стакан. И стаканы, и подстаканники стандартно советские, зато заварной чайник наверняка прежний. Рафинад и тонюсенькие кругляшки лимона разложены заранее, а вкусно пахнущую заварку и самоварный кипяток разливает по стаканам, как и заведено, Хозяйка ДТ. Но только разливает, принимает их кто-нибудь из «гостей». В мой заезд эту почетную должность исполняет собеседник Эстер. Ему часто звонят из Москвы и всегда в одно и то же время — сразу после обеда, так что имя-фамилия Георгий Степанович Кнабе

мне также известна. Вот только, к сожалению, в 1965-м ни о чем существенном не говорит, так, мелочи околотературного быта. Впрочем, из очередного словесного пинг-понга Кнабе с Эстер выясняется, что жил он когда-то, то ли в детстве, то ли в молодости, в одном из старых домов Арбата, а мне мнится, что чуть ли не в том самом, где обитала ту пору былая моя сослуживица по «Советскому воину» Инна Анатольевна Королева. Когда-то, из-за синхронной потери старых телефонных книжек, мы неожиданно растерялись, потом вдруг в метро встретились, и я частенько забегала к ней в гости. Бытовали мои друзья в тесноте, одна комната на пятерых, поэтому сразу же после чаепития, долгого по-старомосковски, мы с милой моей Инной уходили на кухню, к десяти вечера уже пустую и идеально чистую. И пока шли, осторожно, на цыпочках, тени прежних людей вылезали из всех своих убежищ... Вскоре номерной завод, где работали Королевы — и старший, и младший, — выделил им отдельную казенную квартиру. Уезжали они весело. Здравствуй, новая жизнь! Чутько грустно было только Инне, родившейся и выросшей в самом центре Ленинграда. Ну и мне... На прощание мы сделали несколько фоток из моей «лейки». Входная, с ирисами, со стороны лестничной площадки, дверь, старинная напольная плитка на кухне, кухонное окно — сто процентный модерн, но ничего выразительного не получилось. А вот стишки остались (*хорошо, что хоть это осталось...*).

За голицынским табльдотом я их (не Королевы, а стихи) почему-то не раз вспоминала и даже однажды зачем-то прочла Кнабе. Зачем? Объясню, объясню, попробую, но сначала «текст слов»:

Здесь ирисы по жатому стеклу.  
Арбатская профессорская скука —  
В дверной меди, за вешалкой, в углу,  
И в коммунальной злости внука.

Давно уже не ходит букинист.  
Все съедено, и Троцкий, и Вергилий,  
И Карамзин — сафьяновый, фамильный.  
Праправнучка отплясывает твист.

Царевна Лебедь в гриме под Брижит.  
Лебяжий пух изведен на пуховки.  
Твистит паркет, фаянс твистит.  
Чадит печеным из духовки.

Ох, эта смесь ванили и тоски,  
Приправленная соусом тон-крема!  
Как уксусом, им смазывать виски,  
На зелье том настаивать поэму,

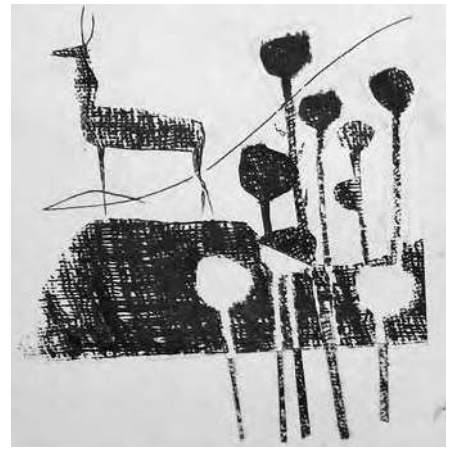
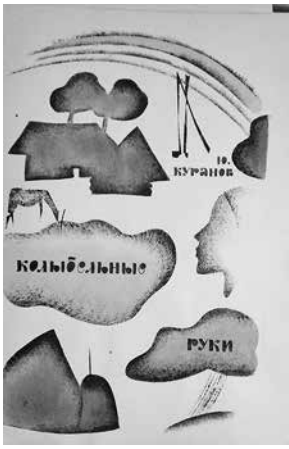
Подняв, как особняка, в три этажа,  
Три бытия, три времени, три класса,  
Три племени, а может, и три расы,  
И трижды наведенная межа.

Трехъярусный, трехмачтовый ковчег,  
На три отсека батисфера лифта.  
А попросту семейное корыто  
Плывет по Беловодью через век.

Зачем прочла? Во-первых, ежели и существуют счастливы, настолько самоуправляемые, что никогда не совершают незапланированных поступков, я не из их числа. Во-вторых, вышло почти что кстати. Проведав, видимо, у Хозяйки ДТ, что эта дворняжка, я то есть, числится литредактором, и не где-нибудь, а в «Вопросах литературы», он и полюбопытствовал. Чью, мол, статейку в данный момент уродую. И я, разумеется, ответила. Над чужими текстами компрачикошу в служебное время. В данный же момент издаваюсь над собственной рукописью. Заодно и прикидываю, как бы половчее подступиться к Синявскому, дабы уговорить его написать для «Воплей» о песенках Окуджавы. Вот тут-то Кнабе, слегка пародируя, и проречитативил уже и тогда «измызганное»: «Ах, Арбат, мой Арбат! Ты мое отечество...» Конечно же, я разозлилась. Но молча, благо ситуация для молчания была подходящей. Кнабе — вальяжно, в единственном кресле, я — стоя и роясь в книжном шкафчике в надежде отыскать что-нибудь читаемое. Часики тикают, а он, хотя, может, и почувствовал, что переборщил, продолжает насмешничать: «Так, может, не только статейки, но и стишки пописываете?» Сдвиг носовым платком пыль с нашедшейся нужной книги (один из выпусков старого, 30-х годов, сборника «Минувшее» — это я тоже хорошо запомнила), я вместо того чтобы, не демонстрируя «свое фэ», по-тихому, молча, исчезнуть за дверью, зачем-то вытаскиваю из угла табуретку, усаживаюсь и отвечаю: «Бывает. Изредка». — «Что, и прочесть можете? На память?»

А почему бы и нет?

Арбатской картинкой господин Кнабе, похоже, слегка обескуражен. То ли текст заковыристей, чем он ожидал, то ли я нечаянно угадала, что он и впрямь, до вселения в активно возводившиеся Литфондом «порядочные» дома, проживал в прежне-режимной арбатской квартире, которую постепенно уплотняли беспородными «королевыми». Словом, Георгий Степанович слегка подредктировал лицо, но тон прежний: «не твистят, а твистуют, милочка». Ух, как хотелось съязвить:



Юрий Куранов, «Колыбельные руки». Оформление  
В. П. Муравьева. Рабочий эскиз

«А вы, что, не знаете, что в порядочном доме свистеть не положено, вот у меня и подсвистывают, твистуя, и полы, и посуда? Это же, ежели по-ученому, скрытая память языка...» И тут же, досадуя, прикусила язык. Сама подставилась. Впрочем, в марте 1965-го<sup>1</sup> досадовала я недолго. Приехавший за Эстер младший из сыновей увез и почтенного ее собеседника.

Впрочем, досада была не слишком досадной, поскольку отвлекала от главной моей заботы: что делать, ежели и курановский план, как и все попытки Аскольда Канторова «втиснуть в московский круг» Муравьева, потерпит фиаско. А ведь у Аскольда Николаевича, не в пример Куранову, половина столичных художников в друзьях числится. Изразцы... Киноплакаты... Коллеги, заказами, как елочными цацками обвешанные, и те ахают: здорово! А худсовет ни в какую...

Ровно через неделю и точно в семь дозвонилась-таки до Канторовых. Муравьев сразу же взял трубку и самым будничным из своих голосов сообщил новости. Рисунки (герасимовские)

<sup>1</sup> Привожу этот эпизод, может, и подробнее, чем другие, более важные, поскольку до сих пор не понимаю упорного антикуджавства Г. С. Кнабе. Специально за его творчеством я, разумеется, не следила, а вот литературные наши маршруты несколько раз перекрещивались, причем там, где ученому-античнику и мне, критику, пересечься было фактически невозможно. Например, в одном и том же номере «Вопросов литературы» или там, где речь как-то сама собой заходила о Булате Окуджаве и о созданном им «Арбатском мифе». Причины (внешние), которые объяснили бы упорство, с которым Георгий Кнабе эту тему варьировал, мне непонятны, а внутренние неизвестны. Однако факт есть факт: выворачивая легенду с нарядной стороны на поношенную изнанку, Кнабе не столько пиарил себя, сколько пересаживал в наш мозговой кавардак идею пагубности поколенческого незнания (Булат Окуджава и культурно-историческая мифология. Вопросы литературы, 2006, № 5. Конец мифа. Старое литературное обозрение, 2001, № 1 (277). Арбатская цивилизация и арбатский миф. Москва и московский текст, сб. статей, составитель Г. Кнабе).

в «Совписе» понравились, и ему, не раздумывая, тут же заказали оформление к курановским рассказам. И не стандартное (обложка, заставки), но еще и иллюстрированные спуски.

Впереди — целых сорок лет нашей общей живой жизни, и в череде невезений нет-нет да вспыхивают зарницы неожиданных и ярких удач, недолгие, гаснущие почти на лету, но сильные. И все-таки тот просвет, что волею случая обозначился в марте 1965-го в голицынском ДТ, вспоминается чаще других. Может быть, потому, что для меня первый. Я же только по рассказам знаю, какой успех имели у гостей Алисы Григорьевны Лебедевой, супруги академика Сергея Алексеевича Лебедева, а то и у покупателей, академиков тож, работы Муравьева, еще до меня созданные. Вот и в Третьяковке на Крымском валу летом 2012-го<sup>2</sup> перед любимой своей «Кофеваркой и кофемолкой» стою, обливаясь сухими внутренними слезами, одна-одинешенька. Без него читаю и такое (в переписке Юлии Сидур с Карлом Аймермахером): «Мечтаю вытащить Муравьева с чердака и для начала сделать его персональную выставку. Я говорю о нем всем журналистам, но им нужен человек с именем. Получается заколдованный круг: о нем не говорят, потому что у него нет имени, а имени нет, потому что никто о нем не говорит» (с. 356). И еще там же: «Я увидела Муравьева в подлинниках. Это совершенно замечательный художник. Я даже думаю, что один из лучших среди живых. Я уверена, что еще предстоит его грандиозное открытие. Он якобы простоват с виду, но на самом деле чрезвычайно сложен и как худож-

<sup>2</sup> Юлия Сидур — Карл Аймермахер. Время новых надежд... Переписка, 1986–1992.



Георгий Аркадьевич Шенгели. Поэт, переводчик, знаток особенностей русского стиха. Его трактат 1927 года «Маяковский во весь рост» студентам, даже членам дувакинского семинара, был известен лишь в кратком изложении

ник, и как человек. Внутренне он необыкновенно интересен, и вся его художественная патология превратившаяся в норму, которую он внешне своими прибаутками как бы притушивает, обязательно потрясет зрителя. Я не знаю, пришло для этого время или нет, но не сомневаюсь, что это обязательно произойдет. Сейчас думаем, как его показать и представить. Наша публика любит, чтобы ей все объясняли, вот мы и думаем, как объяснить... Я считаю, что иностранцам, которые хотят покупать искусство в Москве, надо поскорее покупать именно его. Художники худшие по качеству, но с именем стоят сейчас безумно дорого... Поэтому Муравьев, не избалованный вниманием... огромное везение для коллекционеров» (3 января 1989 года).

Выставка «Перезагрузка» на Крымском валу, которую в 2012 году я восприняла как не предполагающую повторения акцию, оказалась долгоиграющим проектом. Проектом, задача которого — фиксация и кураторская интерпретация процессов, происходящих в современном искусстве. В варианте «Перезагрузка-2012» были выставлены две, а в варианте 2017 года — три работы Муравьева, все три из самых, что называется, левых крайних: «Панки», «Диана-охотница» (из цикла «Новые амазонки») и один из «сюрсов», в мой взгляд, вроде тех, какие Андрей Вознесенский называл «сюрреализмами-нео». В дарственной этот термин звучит почти серьезно, несмотря на несерьезный жанр:

Кремль, как алая марочка,  
Приклеен к ночному небу.  
Дарю вам, Аллочка Марченко,  
Сюрреализмы-нео.

«Перекачеливаясь» в очередной раз из одной своей жизни в другую, впервые обращаю внимание на множественное число глагола «думаем» в письме Ю. С. («Сейчас думаем, как его показать и представить...»). Решив, что это ошибка, достаю из записной книжки книгу. Нет, не ошиблась. 1989-й и впрямь время новых надежд, а Юлия Сидур не из тех, кто разбрасывается словами. Вот только Аймермахер вряд ли включился бы в эту ее затею. На муравьевский чердак немецкого искусствоведа она, конечно же, привела, но, судя по остроумным кривым человечкам, которые Карл Аймермахер и ныне и делает, и выставляет в «Фейсбуке», в круг его интересов живопись не входила. Тем более фигуративная, да еще и сложная для интерпретации. Впрочем, были, предполагаю, и другие резоны. В начале 90-х, я тогда в журнале «Согласие» работала замом у Вацла-

ва Михальского, Ю. С. как-то пригласила меня к себе домой — на Аймермахера. Донельза вымотанный Карл полуотсутствовал. Я и увидела, и поняла это сразу же. Вытаскивать еще одного бегмота из болота он явно был не намерен. Поняла ли это Юлия? Похоже, что почуяла. К тому же главный проект ее жизни — Музей Сидура в Перово — требовал сверхусилий. Грешно и подумать, что кто-то еще может претендовать на ее внимание. Ни Муравьев, ни я и в мыслях не претендовали. Но это мы, а не Юлия. Незадолго до последнего отъезда в Германию она приведет на Остоженский чердак двух или даже, кажется, трех немецких своих знакомцев — то ли коллекционеров, то ли искусствоведов. Муравьев не просек. Вот только и года не прошло, как они оба, и почти одновременно, навсегда исчезли из мира живых. Муравьев — в феврале 2006-го, Юлия Сидур — несколькими месяцами позже.

На взмах девических качелей...

Как все-таки мудро устроено, что люди живут, не зная своего будущего. Даже ближайшего. В самом начале июня 1965-го рукопись «Поэтического мира Есенина» я, как и предполагалось, отнесу на Басманную в «Худлит», сумею и договориться с Синявским, и даже объявить на журнальной ленточке, что А. Д. готов написать об Окуджаве для «Воплей». Вот только пусть его не торопят. До октября он в нетях. Вот тут-то, пожалуй, снова следует затормозить, а отдышавшись, качнуть качели так сильно, чтобы они отлетели на десятилетие назад, в 1955-й.

Благодаря активной амбициозности Марии Васильевны Розановой, супруги Андрея Донатовича





Андрей Донатович Синявский.  
Фотография середины 50-х



Виктор Дмитриевич Дувакин.

Самые активные члены его семинара составляли летучий отряд, по собственной инициативе «внедривший» Маяковского как картофель. Остальные, как и я, к самому Дувакину относились теплее, любознее, нежели к Маяковскому, особенно когда В. В. М. сильно переигрывал, вжившись в роль агитатора, горлана и главаря

Синявского, он превращен посмертно в личность почти фольклорную. На взгляд Александра Гениса — чуть ли не в сказочного персонажа. Старичка-лесовичка. В трактовке Алексея Ремизова. Даже упоминание его имени в связи с самыми что ни на есть расхожими ситуациями и положениями коротенькой той поры, когда он, всего лишь два или три года назад защитивший кандидатскую, пребывал в статусе рядового преподавателя филфака МГУ, воспринимается как посягательство на загадочность литературного мифа. Одна из моих однокурсниц до сих пор с восторгом рассказывает о блистательных его лекциях, которые якобы запомнила на всю оставшуюся жизнь. На самом деле ничего экстраординарного в них не было. Не было и той властной харизмы, что привораживала аудиторию, ежели на просцениум, разгорячившись, вдруг прыгивали с кафедры Сергей Михайлович Бонди или Николай Калинин Гудзий. К тому же Серебряный век, который А. Д. читал, — не «Маленькие трагедии» и не «Повесть о Горе-Злосчастье». Тут осторожность требуется. Любое слово наверняка стенографируется. О том, что Андрей Донатович мыслит-думает интересней, чем говорит публично, я поняла лишь на экзамене. Выслушав дурацкое мое мнение о леонид-андреевской «Жизни человека», Синявский немедленно поставил меня, как школьницу, на горох, да так мастерски, что я скорее обрадовалась, чем смутилась. Не рвалась я к нему и в дипломицы. Почему? Да потому что, откуда ни возьмись, на факультете неожиданно, как бог из машины, объявился Георгий Шенгели, и в нашей «научке», библиотеке, в которую допускались только старшекурсники, стали срочно разыскивать полузапрещенный шенгелевский трактат 1927 года «Маяковский во весь рост». Вот я и понадеялась, что В. Д. Дувакин, в семинар которого

наконец-то не только записалась, но и вписалась, разрешит заняться либо тяжбой Маяковского с Шенгели, либо Есениным (хотя бы через стихи В. В. М. на его смерть). К тому же настоящий некалендарный двадцатый век, о котором рассказывал Шенгели, был соблазнительней того, о каком мы узнавали на лекциях. Не думаю, чтобы Виктору Дмитриевичу понравились предложенные мною дипломные темы, но он так истинно-истово-нежно любил и Маяковского, и вообще поэзию и поэтов, что кивнул. Валяйте, дескать, авось. На этом (весной 1955-го) мы и расстались. А осенью все изменилось. Шенгели тяжело захворал. А без его живого участия щекотливый сюжет («...еле-еле в русском стихе разбирался Шенгели») становился непроходным. Еще хуже выходило с Есениным. Виктор Дмитриевич, хотя и примирился с тем, что в преддипломной моей курсовой (поэма из отдельных стихов на тему «Париж») интереснее, с его точки зрения, написано про Сезанна и Ван Гога, чем про Маяковского, подобного сдвига в сторону, в случае с Есениным, категорически не принял. Однако до расставания разговор мы все-таки не довели. А что ежели, например, нэп в зеркале Маяковской сатиры? Я кинулась в общий зал Ленинки и наконец-то прочла, впервые, каюсь, все, до единого, его стихи. И чем внимательнее я их заподряд читала, тем яснее, и не умом, а нутром, предвидела: и чувства, и мысли, в процессе чтения возникавшие, Виктора Дмитриевича, любимого, хорошего, уникального, не просто возмутят, но еще и обидят.

Очередь к кабинету, перед которым шумно толпились члены маяковского семинара, была

основательной. Пропуская вперед спешащих в назначенный деканом срок утвердить темы дипломных работ, я все отодвигалась и отодвигалась в конце... И вид при этом был, предполагаю, соответствующим. Настолько, похоже, плачевным, что Сергей Михайлович Бонди остановился: что, мол, случилось? И когда кое-как разъяснила ему ситуацию, нагнулся и чуть ли не на ухо выдал такое: «У Пушкина были прекрасные белые крепкие зубы, а у этого, у вашего, лучшего и талантливейшего, полный рот гнилых зубов!»

Сказал и исчез. По узкому коридору старого филфака студенты бегали, преподаватели двигались, а Бонди пролетал! Вот так же летел он и в феврале 1956-го. Допущенным где-то, незнамо где, зачитывали общеизвестный документ. Недопущенное меньшинство слонялось. Наткнувшись на меня, недопущенный Бонди тем же приглушенным голосом, хотя и был в состоянии полуполета, опять задержался и, улыбаясь, произнес, но уже не на ухо: *Не волнуйтесь, образуется. Я ничего не понимаю в экономике, но верую в ее силу.* В тот день я, конечно же, про тайное всеислие экономики не задумывалась. Иное дело осень 1955-го. Тогда Бонди и впрямь не то чтобы успокоил или утвердил в правильности выбора. Он развязал мне язык, и я, не смущаясь, внятно объяснила Дувакину, что ни о ком, кроме Есенина, думать сейчас не могу и что делать, не знаю. *Ну что же...* вроде как равнодушно согласился В. Д. Д. *Попробую, мол, поговорить с Синявским. Он, правда, в Есенина, не в пример вам, не влюблен. Но поэзией тех лет занимается. Вы как, не против?* И не дожидаясь ответа, написал на каком-то обрывке номер телефона, по которому следует позвонить дня через три-четыре, не раньше.

Впечатления от первого визита в виртуально-мемориальный Хлебный подвальчик, к сожалению, штрихпунктирны. Протянув заранее приготовленный список работ, о существовании которых, по его мнению, мне неизвестно, но и не дожидаясь ответной реакции, Андрей Донатович отчетливо дал понять, что урочное время истекло.

Прошло, похоже, месяца полтора, прежде чем мы разговорились. Однажды, к примеру, рассказал про летние вылазки в заводогодскую глушь, охотно, смакуя детали и разрисовывая попутно замечаниями приносимые мною пробные варианты. И разрисовывал, словно нарочно, так затейливо, то внизу страницы, то на полях, то между строчками. Вечерами, разгадывая этот кроссворд, я отчаивалась — не понимаю, и все тут. Наконец честно в этом призналась. Синявский перестал «наставничать» и сказал... Что конкретно сказал, воспроизвести не могу, но суть уяснила с лету. Ему, дескать, как учителю любопытны мои соображения. И о том, что Есенин первый из русских поэтов урожденный цветочувствитель и что стих у него и строится как «изба мышления», и растет как дерево, но при этом генеральным строителем все равно остается звук. Но все это, по его убеждению, хотя и выразительно, решительно несерьезно. И в аспирантуру не поступить, и на кандидатскую не хватить. И что в результате? А в результате ИМЛИ вам не светит. Ошарашенная, отвечаю всерьез (с юмором у меня плоховато). В аспирантуру, мол, не стремлюсь, как и в ИМЛИ. Но Синявский в такое явно не верит. Растерявшись вконец, рассказываю зачем-то о попытке заочно окончить еще и искусствоведение на истафке, а когда выяснилось, что по новым правилам это невозможно, поступила на курсы журналистики в ЦДЖ. Ответной реакции или не было, или я ее не усекла. Зато помню, и совершенно отчетливо, свою собственную реплику: уж лучше Саратов, чем тухлое ваше ИМЛИ! Саратов Синявского рассмешил: «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов?» И добавил, ухмыляясь в антисоветскую свою бороду: «А не лучше ли замуж, но только за генерала?» И расхохотался, причем натурально. Не театрально — от пуза. Расхохоталась и я. *Смеянка от пуза* вещь заразительная. А отсмеявшись, заявила, как с самого начала и следовало бы заявить: чего завтра захочу, не знаю, а пока Есенина написать хочу.

Продолжение следует.